

Поэль Карп

На исходе века

Стихи

1946-1985

В сороковые годы Советский Союз вместе с Англией и Америкой победил агрессивную Германию и еще сам покорила Восточную Европу. Но к концу восьмидесятих некоторые страны и союзные республики обрели независимость. А другие – как, например, огромный Татарстан, остались зависимы от имперской России, да и сама Россия не обрела свободы. Бог весть, когда и как она совершит свой выбор. Некоторые стихи минувших лет запечатлели происходившее.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1946

Никто не скажет ничего
Коль скоро лютая зима
Я не ищу ни друга, ни врага
В Политехническом музее
Бабье лето
Какими судьбами, скажите на милость

1947

А ты бы жизнь вдохнул в рояль
Я родился задолго до поры
Нынче с пригородной дачи
День скользит в оконной раме

1948

Стучат часы, стучат колеса
Надежды нет и ждать не надо
Поэт, ступай своей дорогой

1949

Почтальон, не умолкая
Промелькнула тень в окне
Кто-то умер, кто-то вышел
Кабы в нашей было власти
Поэт уйдет полузабытым
Нет, не впервые нынче здесь

1950-1952

Поезда, поезда, бездорожье, распутица
Я живу совсем один
Когда гляжу с Тучкова моста
Мы попадаем не впервые

1953-1958

Я живу в небывалой стране

1959-1961

И вот мы опять
Художник и прожил недолго
Ты уедешь, я уеду

Листва горит на склонах
Прощай, простимся навсегда
Да простит меня бог
Белые ночи, белые ночи

1961-1962

Засыпаем, но не высыпаемся
Этот город, забытый и брошенный нами
За углом, не за этим, так значит за тем
Заурядный день осенний
В Елабуге, что ли
Узких улиц переплеты
Не то, чтобы выгляжу старым
Где ты, птица-небылица
Прощай, не взыщи, моя радость
Сидим вдвоем и водку хлещем

1962-1963

Погоди, роптать не надо
Стихи минувшие листаю
Мы жили без дела, на воле
Что значит живопись? Пожар
Руссо не знал про Робеспьера
Присутствует в музыке Баха
Изверьась и измучась
Валит, валит сегодня с неба
Уверяют староверы
Поныне в виде бога Марса
Не замечают собственного сходства
Когда увижу на стене

1963-1965

Мы не дачники, мы неудачники
Теперь на улице ветрено
О как он все же был рискован
Мы сидели на вокзале
Эти несколько строк
Я счастья жду
Как странно бывает сначала
Мы проклинаям автоматы
Прозаику нужны противовесы
А я обыденной обидой
Двенадцать цезарей
Ну что опять сидишь, как сын
А в общем январь, как январь
Не странно разве это было

1966-1970

У нас в гостях московские поэты
Занимались во мгле купола
В конце зимы находит буйный страх
Встреча вечером в вагоне
А тебе в пальтишке детском
Когда влечет неудержимо
Неизвестно когда и неведомо где
Мы не спали, мы просто лежали
А нам допивать бы не надо вино
От стыда не подняв головы
Если время простить и проститься
Андрей Данилов, превосходный парень
Открытие сезона в сентябре
Прости меня, город Орел
Учитесь музыке. Упрямо
В грузинской церкви в Мцхети
Неси свой крест и веруй
Продается кларнет
Во сне еженедельных похорон
Прекрасный дух разъятый
Пока дрожит осенний Петроград

1972-1978

С чего бы в полуночный час
Оторопевший ротозей
Не промолвить бы ни звука
В зеленом и сонном Крыму
Твои скоротечные дни
Я живу, я не то, чтобы жив
Коль жизни, кроме страха
Нам по Лиговке налево
Корабль трехмачтовый
Пред тем как медленно вспорхнуть
Зарю семнадцатого века
Не верь, не верь в свою звезду
Четыре музыканта сидят ко мне лицом

1978-1985

В неугомонной гонке
Опять химеры
«Слава богу!» – сказал государь, но в ответ
Семейным портретом Ван-Дейка
Святой Лука, рисующий мадонну
Есть в Эрмитаже три лица
Российский живописец прибыл в Рим
Сын человеческий, – господь

Не мной было сказано: «Черт догадал!»
Русский царь убит поляком
Если бы так случилось
Автопортрет художника с женой

1946

Никто не скажет ничего,
не спросит ни о чем,
не перевяжет бичевой,
не скрепит сургучом,

и ни чужие, ни родня,
ни друг, ни даже враг
не разберут после меня
оставшихся бумаг.

А я уйду, да так уйду,
что ты и не найдешь,
хоть все, что было на виду,
потацишь на правож.

А я уйду, закрыв глаза,
и не вернусь назад,
десятой доли не сказав
того, что мог сказать.

Коль скоро лютая зима
не перестанет выть и злиться,
я, кажется, сойду с ума
и стану притчей во языцех.

И поддаваясь палачу
едва понятного былого,
как приказали, промолчу,
но не скажу худого слова.

И непременный фаворит,
я, наконец, набью оскому,
не научившись говорить
на языке давно знакомом.

Я не ищу ни друга, ни врага,
мне жизнь моя ничуть не дорога,
я сам не свой, я пополам расколот,
я все еще в давнопрошедших днях,
а, между тем, в окрестных деревнях
уже весна, бескормица и голод.

Уже идут сосновые гробы,
умершие уходят от судьбы,
старухи на меня глядят все строже

за то, что с ними сызмала знаком,
а вспоминаю больше о другом:
о скудости земель и бездорожье.

Река вскрывается. Земля еще в снегу.
На противоположном берегу
еще лежит неубранное тело,
еще в груди кривой садовый нож,
еще зима, еще не продохнешь,
еще никто не скажет, в чем тут дело.

Еще мне говорят, что все пройдет,
что надо ждать, покуда схлынет лед
и пронесет расхристанные годы,
когда всевышним числимый злодей
душил простые чаянья людей
бездушием отверженной природы.

В Политехническом музее
он выступает первый раз,
глаза таращат ротозеи,
а мы не прячем влажных глаз,

и поднимаясь на ступени,
и резко двигаясь вперед,
он выделяется из тени,
где жизнь опальная течет.

Пускай зовется это славой,
но ты попристальнее глянь,
запомни голос тот гнусавый
и к небу вздетую гортань,

прочти испуг в случайном взгляде
и вены вздутые на лбу,
не жди, что книги и тетради
способны вычерпать судьбу.

Теперь один он остается
на лобном месте торжества,
где не отличия, а сходства
хотели от него сперва,

теперь ликующие лица
всеобщий празднуют успех,
но чтобы каждому открыться,
он должен спрятаться от всех.

Бабье лето, бабье лето –
ни ответа, ни привета
только листья на пороге,
только слезы на ветру,
а посмотришь, успокоясь, –
только пригородный поезд
по Савеловской дороге
тихо едет поутру.

Бабье лето. Для проформы
пассажирские платформы
провожают, бьют поклоны,
не забудь о нас, пиши!
Бабье лето, бабье лето –
это поздняя примета
неродной, неутоленной,
неприкаянной души.

Если что-нибудь случится,
если женщина, как птица,
улетит и возвратится, –
что ответить ей могу,
если путь не слишком долог,
если я не старый олух,
а стою, как в сучьях голых,
в неоплаченном долгу.

Бабье лето. Бабье лето,
это значит – песня спета,
опрокинуты стаканы,
перевернуты дома.
Бабье лето, бабьи слезы,
облетевшие березы,
и нежданно-негаданно
наступившая зима.

1947

А ты бы жизнь вдохнул в рояль –
небрежно, весело и смело,
когда бы сил не стало жаль
на трижды проклятое дело,

когда бы кто-нибудь другой,
кого и в грош-то ведь не ставишь,
не отстранил тебя рукой
от ожидающихся клавиш.

И я по-прежнему гляжу,
как снег заносит мостовые.
Подходят годы к рубежу,
а мы живем, как неживые.

И если к нам из тишины
придет нечаянная слава,
мы удивляться не должны,
но верить не имеем права.

Какими судьбами, скажите на милость,
цепляется память за то, что случилось,
и как сохранилась начальная целость
того, что приснилось, того, что хотелось...

Актриса, к которой ты равнодушен,
таланты, которых ты не обнаружил,
прошло, миновало, былшем поросло...
Какое сегодня у нас ремесло?

Ни старая площадь, ни новая площадь,
ни то, что полотнище ветер полощет, —
никто и словечка не вымолвит впредь,
куда подобает минувшее деть.

Парадные двери запрут на засовы,
спектакль не будет объявлен особо,
и лишь в подворотне останется след —
рассеянный, тусклый, мигающий свет.

Я родился задолго до поры,
как мир был ограничен домом отчим,
а отчий дом, казалось, мы упрочим
уж тем одним, что точим топоры.

Но в топорах сверкало в старину
бессилие надменного господства
и нетерпенье рабства. Остается
дверь запереть и подойти к окну,

открыть окно. Нет, распахнуть окно,
разбить окно и выпрыгнуть наружу,
туда, где я себя обезоружу
своим прыжком, и где я мертв давно.

Веревка проще и надежней нож,
а тут, глядишь, столпятся ротозеи,

но камень сердца, виснувший на шее,
с нее никак иначе не сорвешь.

И коль судьба пошедших прахом душ
и собственной твоей столь непреклонна,
присутствие всеобщего закона
в ее ночном осадке обнаружь.

Я родился давно, не позже дня,
в который был раздавлен, и в котором
был предначертан поворот к повторам,
скрутившим век задолго до меня.

Нынче с пригородной дачи
едет поезд похоронный,
проводник, по детски плача,
на других срывает злость.
Чудом схватывая фразу
из нескладицы бессонной,
мы пойдем отнюдь не сразу,
что тут, собственно, стряслось.

Все не так, однако, странно,
ведь почти что невозбранно
у одних темнеют лица
и бледнеют у других,
и толпятся на вокзале
все, кто помнят, все, кто знали,
и поэт исполнить тщится
свой похвально-слезный стих.

Мы в толпе стоим понуро,
как диктует процедура,
ибо есть у каждой твари
приобщения пора, –
мы пришли, хоть нас не звали,
позовут-то нас едва ли,
разве что на тротуаре
будет место у костра.

День скользит в оконной раме,
поезд мчит издалека,
за латгальскими холмами
возвращается тоска.

А соседка в темной блузке
гнет свое: останься глух

к скуке сел великолукских
и самих Великих Лук.

Отчего же мне спросонок
все отчетливее зов
покосившихся избенок,
погоревших городов?

Говорят, что скорбь людскую
черствый хлеб и тяжкий труд
перетерпят, перекурят,
переспорят, перетрут.

Жизнь пройдет, промчится лето,
прошумит ночной камыш,
но не жди от них ответа,
отчего всю ночь не спишь.

Знать живет народ упрямый,
что ты там ни говори,
аж от Себежа до самой
почитай что до Твери.

1948

Стучат часы, стучат колеса,
всю ночь отходят поезда,
их тени падают с откоса
и отбывают навсегда,

и слуха нет о человеке,
с тех нескончаемых дорог,
отсечены от нас навеки
переступившие порог,

их как бы нет для нас отныне,
хотя они поныне есть,
но до запуганной пустыни
не достигает даже весть.

Надежды нет, и ждать не надо
и даже сетовать не след.
К тебе поднять не может взгляда
вертящий радио сосед.

Опять молчание, и снова
смычки взрезают груз обид,

журчит кларнетом глас былого,
фагот напраслину сулит.

И ты, наскучив жить по нотам,
решишься вдруг в ночной тиши
доверить лестничным пролетам
бессмертие своей души.

Поэт, ступай своей дорогой,
засохших губ не шевеля,
когда поверхности убогой
стыдится голая земля,

не жди, не прячься за портьерой,
молчи, не верь своим словам,
и не гляди на этот серый
давно забытый котлован.

Порой встречается в полотнах
французских новых мастеров
очарованье мимолетных,
но повторяющихся снов.

Зима. Зима. Обряд исполнен
в тиши дорических колонн,
но от житейских наших молний
не защищает Аполлон.

Судьба валит, как хлопья снега,
едва вздохнешь, она и вся,
и бродишь в поисках ночлега,
когдадохнуть уже нельзя.

Сухие пальцы сжав до хруста,
миришься с прежней немотой,
и отдаешь свое искусство
за ужас жизни прожитой.

1949

Почтальон, не умолкая,
каждый день колотит в дверь.
Мне решительность такая
стала тягостна теперь,
мне хотелось бы забыться,
оглядеться, убедиться,
что не так уже плоха
городская суматоха,

и совсем, совсем неплохо,
если улица тиха.

Перед красным светофором
собирается народ.
Ветер ходит под забором,
застревает у ворот.
Почтальону не пробиться,
почтальон не смотрит в лица,
почтальону невдомек,
чья судьба ему знакома,
кто сегодня спал не дома
и письма принять не смог.

Он кладет в почтовый ящик
ворох писем шелестящих
от знакомых и родных,
две центральные газеты
и назначенные где-то
сто целковых наградных.

Почтальон не знает что там,
он не верит анекдотам,
ходит в гости из гостей, –
находящий дверь на ощупь,
он – всего только разносчик
надоевших новостей.

Он приносит холод в души,
и сидишь и бьешь баклуши,
забываешь все кругом.

В этом городе бессонном
что мне делать с почтальоном,
чтобы думать о другом?

Промелькнула тень в окне.
Если можете, спасите,
успокойте, объясните,
отчего так страшно мне.

Кто-то плачет за стеной.
Вот он рядом, вот он, вот он!
Он ко всем моим заботам
не прибавит ни одной.

Между сумраком и тьмой,
если я соснуть прилягу,

он не сделает и шагу
непонятный спутник мой.

Что он знает обо мне?
Что ему моя тревога?
Он покуда, слава богу,
остаётся в стороне.

Отчего ж он страшен так
этот серенький мышонок?
К блеску глаз его смысленных
не привыкну я никак.

Вот и сам слежу всю ночь
за дотошным забиякой.
С этой мудростью двоякой
мне становится невмочь.

Он уходит по стене,
растворяясь на рассвете.
У соседей плачут дети.
А чего бояться мне?

Кто-то умер, кто-то вышел,
кто-то дверь не затворил...
В тишине под снежной крышей
остаётся шелест крыл,

остаётся гул былого,
понимаешь – это здесь,
и совсем простое слово
вслух боишься произнести.

А под утро елки праздной,
расплываясь, вянет тень,
и встает обычный, ясный,
чуть морозный зимний день.

Кабы в нашей было власти
скинуть кладь с усталых плеч,
и дыханием напасти
удавалось пренебречь,

и давнишняя досада
отпускала хоть на миг,
вовсе было бы не надо
углубляться в дебри книг.

Доверяясь вихрю моды,
размотали бы мы дни,
а не ждали бы погоды,
сидя в комнате одни,

и не видели бы толка
в тихом веянье духов,
остающемся надолго
после третьих петухов.

Поэт уйдет полузабытым,
и, очевидно, неспроста,
ему воздав, его зенитом
объявят общие места.

Венок лавровый будет вскоре
тяжеле мраморной плиты,
и зазвенит в хвалебном хоре
счастливый голос клеветы.

Его, участия удостоив,
спеша загладить прежний лед,
не сотрясающим устоев
провозгласят, едва помрет.

А мы, ославленные басней,
откуда выросшей бог весть,
все представляемся опасней,
чем мы на самом деле есть.

Зато – открыты ли мы взорам
или ушли в свои углы –
теперь кичимся мы позором,
стыдясь казенной похвалы.

Так возникает понемногу,
подчас помимо нас самих,
пристрастье к выпренному слогу
не писанных, но внятных книг.

Нет, не впервые нынче здесь
ты остановишься и снова,
как на ладони, берег весь
увидишь с вала крепостного,

когда клонящие ко сну
его торжественность и сырость

столь не похожи на страну,
где ты рожден и где ты вырос.

А дальше ростры, острова,
морская гладь и память детства, –
ты здесь бывал и мог сперва
в лицо глядеть и наглядеться.

Ты знал – России тяжела
родным поставленная сыном
адмиралтейская игла
над этим городом пустынным.

1950-1952

Поезда, поезда, бездорожье, распутица,
петербургский холодный туман.
Говорили, что сказка когда-нибудь сбудется,
только ты не давалась в обман.

Собираемся в путь, отправляемся наскоро,
и дорога, как прежде, вьется,
нас приводит к порталу собора Казанского,
где Смоленский покоится князь.

Это было давно. Это нам не наскучило.
Это так повелось искони,
чтобы сердце кидалось от случая к случаю
в те далекие, давние дни.

И родную Москву за победу крылатую
подожгли и спалили дотла,
и шотландцу в России поставили статую
за его боевые дела.

Не затем родились, чтобы жить как положено,
чтобы лгать и не верить опять.
В эти годы ни бога, ни имени божьего
мы не знаем, и глаз не поднять,

не избыть, не забыть, не начать уже сызнова,
разве только что кануть во тьму.
А промозглая ночь все прознала и вызнала,
да не хочет открыть никому.

Простясь на рассвете с обычным ночлегом,
еще мы не сходим с ума,

синеющим инеем, слипшимся снегом,
зима одевает дома,

слабеющей осени пышные знаки
она попирает пятой,
и кажется, будто не в силах Исакий
свой купол держать золотой.

Сегодня мы с вами, сегодня мы дома,
а завтра бог знает, где мы,
но с раннего детства была нам знакома
тяжелая поступь зимы.

Она начинается в самом начале,
кончается в самом конце,
и, может быть, мы пожимаем плечами,
но не изменяясь в лице.

Опять говорят, что она разрешила
метели на тысячи верст,
среди белого дня застревает машина
при въезде на Троицкий мост.

А мы на морозе по-прежнему стынем,
всю зиму живем как во сне,
но прежнего смысла не ищем отныне
в ее снеговой белизне.

Я живу совсем один
в этом городе чужом,
мы встречаться не хотим,
но себя не бережем,

и гляжу кому-то вслед
в растворенное окно
оттого, что писем нет
от тебя уже давно.

Ты, должно быть, вновь права,
да признаться в этом лень,
лучше – руки в рукава,
лучше – шапку набекрень,

и забросив на ночь дом,
постояв, где дремлют львы,
независимо пойдем
вдоль поднявшейся Невы.

А ручьи, замедлив бег,
тают будто бы в руках,
и лежит последний снег
на гранитных берегах.

Только талая вода
старых писем не хранит
и ведет меня туда,
где кончается гранит.

Когда гляжу с Тучкова моста,
как тихо плещется вода,
не верю сам, что будет просто
здесь поселиться навсегда,

не верю сам, что мы могли бы,
пускай не я – любой из нас,
врасти в прибрежные изгибы,
хотя бы видел их сто раз.

Нет, только так, – не ночью белой,
но в этих сумерках густых,
как будто кто рукой несмелой
наметил берег и притих.

Такой премудрости немудрой
мы сопричастны только здесь,
когда домой вернемся утром,
да и вернемся ли, бог весть.

Столь непреложна в Ленинграде
хрестоматийная краса,
что не торопятся в тетради
совсем другие голоса.

Но на рассвете слишком раннем
ты знаешь, сердца не тая,
что с бессловесным бормотаньем
душа не справится твоя.

Мы попадаем не впервые
порой осенней в край озерный,
где над водой прозрачно-черной
вздыхают сосны вековые.

И здешний быт и здешний климат
во всех подробностях мы знаем:

с утра дожди над скудным краем,
а ночью птицы крик подымут.

Пуškai у нас достанет духа
в окошко выглянуть без гнева,
пускай опять достигнут слуха
обрывки странного напева,

пускай умрут с рассветом ранним
и в поздний час начнут сначала, –
ведь мы расспрашивать не станем,
что эта песня означала.

1953-1958.

Я живу в небывалой стране,
надо мной ее тяжесть нависла,
но скрывать, что близка она мне,
я не вижу особого смысла.

И богата – и как же бедна!
И окрепла – и как же устала!
О, найдется ли в мире страна,
чтоб собой дорожила так мало!

Кто-то встал ей на горло пятой
и, деля ее с жадной оравой,
стал бахвалиться славой пустой
и глумиться над подлинной славой.

Я провел эти годы один
и, не сетуя толком на это,
просвещал молодых балерин,
постигая премудрость балета.

Но пройдут понемногу года,
проведенные в страхе и дреме,
и, надеюсь, уйдет без следа
тот, чье имя жило в каждом доме,

и пускай в новизне этих лет,
выйдя из лесу просекой узкой,
не один только русский балет,
но и гений прославится русский.

1959-1961.

И вот мы опять
плутаем по городу летом,
тебе улетать, –
и больше не надо об этом.

Разводят мосты,
пора бы и нам расходиться.
Что думаешь ты,
моя легконогая птица?

Вдоль сонной реки
мы медленно двинемся к дому,
пускай каблуки
стучат по асфальту ночному,

в короткой судьбе,
которую лучше не трогай,
я все о тебе,
о птице моей легконогой.

Тускнеют огни,
скрываясь от белого света,
ты только взгляни,
как тлеет бескровное лето,

на каждом шагу
я отодвигаю разлуку
и все не могу
проститься и выпустить руку.

Художник и прожил недолго,
и не был он падох на лесть,
какого он стиля и толка –
в учебниках можно прочесть,

такие вытаскивать рожи
умел он, пожалуй, один.
Но мы отвлекаемся все же
и от созерцанья картин.

Одними ли только холстами,
где красок пожухших слои,
исчерпаны были с годами
мгновенные всплески твои?

А сколько их было помимо
оставивших след на холсте?
И где они нынче, незримо
когда-то пылавшие, те?

Художник уходит навеки,
и мало нам, право, того,
что в Мюнхенской пинакотеке
останется след от него.

Так пусть он живет суеверней,
худым не сдаваясь годам,
коль то, что уходит, безмерней
того, что останется нам.

Ты уедешь, я уеду,
да и свидимся навряд,
а искать тебя по следу
мне чего-то не велят,

до тебя не достучатся
даже вешние ветра,
не расскажут домочадцы,
кто звонил тебе с утра.

Но в конце ночей бессонных,
а от них я не отвый,
в рамах прячется оконных
расплывающийся лик,

забываю, вспоминаю,
то во сне, то наяву,
как назвать тебя не знаю
и по имени зову.

Листва горит на кленах
и падает опять,
мы листьев опаленных
не станем подбирать,

и уж не знаю кто там,
но кто-нибудь, любя,
испытанным расчетом
научит жить тебя.

И разве напоследок,
без слез и без обид,

под сенью голых веток
вдруг сердце защежит,

потом все в бездну канет,
и время истечет.
С чего же вдруг обманет
твой правильный расчет?

7.10

Прощай, простимся навсегда, –
как говорят, навеки,
беги, как талая вода
весной сбегает в реки.
Не слишком много ли мы лет
от верных прятались примет?
Но разве мы заметим,
что связаны мы этим?

Кто нас от гибели спасет
и кто укажет средство,
что нам защитой будет от
случайного соседства,
от мимолетной болтовни
в распахнутые настежь дни?..
Господь не обессудил,
и свет не обезлюдел.

Беги, беги по мостовой,
стань сызнова крылатой,
пусть вслед тебе взирает твой
безвольный соглядатай,
заройся по уши во тьму,
оставь расхлебывать ему
крушение давней веры
и новые химеры.

10.05

Да простит меня бог,
да простит меня бог,
если что-то я мог,
а чего-то не смог,
если было когда,
что гневил небеса,
и что пел со стыда
не на все голоса...

Да простит меня бог,
да простит меня бог
за сумбурную речь
и за выпранный слог,
и за каждый мой шаг,
и за каждый мой стих,
что как звон был в ушах,
а посмотришь – затих...

Да простит меня бог,
да простит меня бог,
на дорогах земных
да не будет он строг,
пусть прибавит мне сил,
если сможет простить.
Но за то, что я был,
как прощенья просить?

7. 06

Белые ночи, белые ночи
были куда уж, казалось, короче,
и различить не давала заря
блеклый, мигающий свет фонаря.

Город висел над водой белоглазой,
стены строений страдали проказой,
тени шагали по краю земли,
мы столкнуться никак не могли.

Ты уходила по лестнице длинной,
ты уезжала попутной машиной,
ты убегала, платок теребя,
не было попросту больше тебя.

Молод, и зелен, и влажен был город,
мир еще не был на части распорот,
и не считал меднолицый рассвет,
сколько уже мы не виделись лет.

24.06.

1961-1962

Засыпаем, но не высыпаемся,
отступаем, но не отступаемся,
и не дожидаемся, а ждем,
то есть, на попятный не идем.

Оттого ли, что мы так устроены,
наши злоключения утроены
или даже учетверены,
если поглядеть со стороны.

Не спихнуть того, что долго тянется.
Кто-нибудь возьмет, да и оглянется.
Вот и гложет кровь мою и плоть,
как положит на душу господь.

27.06

Этот город, забытый и брошенный нами,
вырывается вдруг из лесов и болот,
то ли вверх по теченью уходит по Каме,
то ли вниз по Оке незаметно плывет.

Но не рубят голов, не стреляют из пушек
и смиренных поклонов не бьют до земли.
Возвышаются маковки ветхих церквушек,
да врата городские ржавеют в пыли.

Тишина. Суматошные бегают блики.
Был-де город такой, да и был, мол, таков.
Только в церкви пустой осыпаются лики
возводивших когда-то его мужиков.

Хоть не меда вкусив, но худого изведав,
здесь молились святым и не брали в расчет,
кто они, на моих чуть похожие дедов
и на дедов того, кто мой век пресечет.

Набегают вода. Ставни что ли раскрыты?
Розовеет слюда в опустевших домах.
А глаза чуть раскосые ищут защиты
от хулы, от беды, от смятенья в умах.

Мы и славу сулим и добром заклинаем,
но уходит на дно неживая краса.
Здесь кончается город, как мы его знаем,
а отсюда болота идут да леса.

12.10

За углом – не за этим, так, значит, за тем, –
где-то рядом, поблизости где-то
мы, насупясь, молчали, и город был нем,
и стояли мы так до рассвета.

Мостовую помыли. Панели мели.
Иногда проходили мужчины.
И сгорал, исчезая за краем земли,
огонек пролетевшей машины.

Вышел первый трамвай, и, ловя его стук,
охал дворник, дремавший на стуле,
и, взглянув на меня, вырывалась ты вдруг,
точно нас ненароком спугнули.

А домой я задворками шел наизусть...
Это было. Иль этого мало?
И опять я в автобусе старом трясусь
и схожу, как всегда, у вокзала.

2.11

Заурядный день осенний,
холодок, дремота, сплин,
день насупленных растений
и рассыпанных витрин,

и в пальто каком-то модном,
точно вымытом в огне,
вместе с воздухом холодным
ты врываешься ко мне

неуемной, долгожданной,
отнимающей покой,
беспощадной, богоданной
и бог весть еще какой.

9.11

В Елабуге, что ли,
во весь обозначилась рост,
по собственной воле
уйдя от людей на погост?

Какая-то малость,
довесок на чаше весов, —
и жить отказалась
в пустыне глухих голосов,

и снег серебрился,
на свежем и жалком холме,
и месяц постился,
подладясь к военной зиме.

Почти что старуха,
какой невтерпеж холода,
по рвению слуха
всегда ты была молода,

в проталинах голых,
кровавый оплакавших год,
и в век недомолвок
твой голос отверстый живет,

и сохнет осина,
и никнет под снегом хвоя, —
Марина, Марина,
ты родина, что ли, моя?

13.12

Узких улиц переплеты
и торцы на мостовой...
Здесь не спрашивают, кто ты,
знают сами, что не свой,

словно ты не носишь груза
(хоть и ты к нему привык)
от Ганзейского союза
здесь сменявшихся владык.

Вдоль домов бредешь спросонок,
только как-то все не впрок.
Но откуда у эстонок
этот плавный говорок?

Он не скоро мне наскучит,
как бывшее ни тумань,
оттого меня и мучит
древний город Колывань.

4.01

Не то чтобы выгляжу старым —
усталым бываю скорей,
а все же пророчили даром,
что стану с годами добрей.

Держусь за пустые бумажки,
где ежится стиснутый стих.
Отдать бы их Машке и Сашке,
кораблики сделать из них!

Ан нет, все им под ноги снова,
а там – хоть ни слова в ответ.
Не то чтобы время сурово,
но попросту времени нет.

30.01

Где ты, птица-небылица,
мой веселый человек?
От тебя не отступиться,
не опомниться вовек.

Ты и горе и забота,
сам не знаю отчего, –
ты, должно быть, просто что-то
вроде сердца моего.

И огонь моей отваги
ты, как водится, зажгла,
и опять мои бумаги
ты сметаешь со стола,

этот ветер беспрестанно
трепыхает надо мной,
мне поэтому и странно
называть тебя женой.

30.03

Прощай, не взыщи, моя радость,
ведь вот оно, стало быть, как, –
весеннего таянья градус –
как будто свидания знак.

Опять по задворкам плутаем,
знакомых увидеть боюсь,
и старую книгу листаем
про чью-то нескладную связь.

Любовь моя глупая, где ты?
Опомнись, от сердца отстань!
Но мы с тобой оба одеты
в какую-то странную ткань,

не мнется она, не садится,
и только топорщится вся,

а наши открытые лица
дождь мочит, всю ночь морося.

Сидим вдвоем и водку хлещем,
и все гадаем, что нас ждет, –
то золотым, а то зловещим,
нам предстает грядущий год.

Меня всегда пугала плаха,
как будто плакала по мне, –
не оттого ли чувство страха
застыло в самой глубине?

Какая мертвая усталость
вдруг помогла его изжить?
Не слишком долго жить осталось,
чтоб жизнью слишком дорожить.

24.05

1962-1963

Погоди, роптать не надо,
в самом деле, погоди.
Иль не вся моя отрада
сердце горькое в груди –

горечь слез моих горячих,
первой верности обет,
и в каракулях и крючьях
узнаванье давних лет?

Как нещадно нас ломало
от постыдной немоты, –
и себя мне было мало,
и нужна была мне ты.

11.09

Стихи минувшие листаю,
терзаю память прежних лет,
и отчего бы эту стаю
вновь за тобой не слать вослед?

Читаю многоглаголанье
тех неоперившихся дум,
где бы была – мое желанье,
а я – застенчив и угрюм.

Сочтем поэтому за благо
сюда с поправками не лезть,

и то, что вынесла бумага,
пускай останется как есть.

Я только вычел, просто вычел
те потаенные слога,
где я тебя не возвеличил,
но ты была мне дорога.

24.09

Мы жили без дела на воле,
какие уж летом дела, –
вот разве у маленькой Оли,
которая рядом жила, –

из меха, из шерсти и кожи
она заводила собак,
и, кажется, мальчиков тоже
и девочек делала так.

И вечером видел я часто,
а мог бы глядеть без конца,
как лезет из недр пенопласта
нелепый румянец лица.

Им шили штаны из вельвета
и юбки из пестрой тесьмы,
а кончилось хилое лето –
и в город уехали мы.

Но то, что берег я дотол
и дать не хотел никому,
я отдал бы девочке Оле,
как ветошь, как пищу уму.

Пускай бы взяла да и сшила,
и ситец взяла и фланель,
и что-то такое решила,
чего не бывало досель.

1.10

Что значит живопись? Пожар.
Пожар в осенней роще,
хоть ты еще не слишком стар,
чтоб изъясняться проще,

но это пиршество цветов,
тебя купивших разом,

ты, как назло, принять готов
за свой смятенный разум.

Что значит музыка? Набат.
И мы воображали,
что трубы медные трубят
о лиственном пожаре,

а флейта бедная скулит
и отдает гобою
перечисление обид,
заметанных тобою.

Что значит стих? В нем есть и звон
колоколов постылых,
и тот огонь, с которым он
управиться не в силах,

и оголтелый листопад
в заведомых повторах,
которым ты не будешь рад,
но не отдашь которых.

6.12

Руссо не знал про Робеспьера
и не мерещилась ему
осатаневшая химера,
битком набившая тюрьму,

которой было все едино –
Лавуазье или Дантон,
и надрывалась гильотина,
и не смолкал в Париже стон.

В сентиментальном разве стиле
ее вращалось колесо?
Зачем же люди говорили,
что виноват во всем Руссо?

А ведь виновен был едва ли
чужой Женевы бедный сын,
желал он только пасторали,
когда брался за клавесин,

да что-то в музыку вращало,
и шум пошел, и гул возник,
и счастье всех внезапно стало
несчастьем каждого из них.

Но сердцу веривший в азарте,
был виноват он разве в том,
что не гадал о Бонапарте,
который выскочил потом?

28.12

Присутствует в музыке Баха
налаженный рыночный быт,
и смерть за копейку, и плаха,
и счастье, что ты не убит,

разрыв, суета, суматоха,
обыденной жизни содом, —
а кажется, жили неплохо
и веселы были притом.

Но эти земные напасти,
случившиеся наяву,
кончаются в медленной части,
ведущей тебя к божеству.

Душа разрешается ныне,
и дух возвышается чист,
коль скоро ушел от гордыни
и каяться стал органист.

Тогда и прелюбы и пьянства
тебе отпускается грех,
да только и рай христианства
для каждого, но не для всех.

И город гудит в воскресенье, —
сегодня гуляет народ,
вперед обретая спасенье,
коль скоро господь не спасет.

5.01

Изверясь и измучась,
уже который год
понять пытаюсь участь
неведомых красот.

Сперва, на них уставясь,
их судят свысока,
испытывая зависть
неясную пока.

Потом их тайна тает,
войдя в программы школ,
и вдруг надоедает
божественный глагол.

А есть простое средство,
нетрудное для глаз,
помедлить и взглядеться
еще хотя бы раз.

13.01

Валит, валит сегодня с неба,
заходит за полночь кутеж, –
к утру навалит столько снега,
что через двор и не пройдешь.

Щеглом свистишь, собакой лаешь,
на чей-то койке спишь чужой,
но никому не оставляешь
того, что было за душой,

что разошлось в басах гитары,
в пустом дрожании струны.
А говорят, что мы не стары
и прежней женщине верны.

Года сгорают без оглядки,
поди пойми, кто их зажег!
Вот только взятки с них не гладки,
и тает утренний снежок.

28.01

Пускай бы даже и не вышло,
и поворачивал бы дышло,
не стал бы ссориться с судьбой
и согласился – бог с тобой!

Но по извечному закону
ты мне звонишь по телефону,
ты хочешь знать, как я живу,
и я к себе тебя зову.

Потом меняется погода,
ты пропадаешь на полгода,
как будто знаешь наперед,
что провожатый подождет.

И вдруг в какой-то день из сотни,
впотьмах прощаясь в подворотне,
ты успеваешь мне сказать,
что счастлива была опять,

и дальше катится разлука,
и снова о тебе ни звука,
и все я верю всякий раз,
что случай сталкивает нас.

2.02

Уверяют староверы, –
а кому бы лучше знать, –
будто временные меры
начинаются опять.

Помолчать – беда какая,
повторять нам будут впредь.
На столетья предрекая,
трудно день перетерпеть?

Только этой теореме
нет решенья никогда:
обещают, что на время,
а выходит на года.

22.02

Поныне в виде бога Марса
стоит Суворов у реки,
разить лукавство и коварство
он шел угрозам вопреки,

до сей поры хранятся знаки
его великих ратных дел, –
бежали взапуски пруссаки,
и турок бил он, как хотел.

И впрямь был богом в ратном поле
шутник, чудаки и нелюдим.
Глазами Сурикова, что ли,
мы на Суворова глядим?

Не столь уж был он и богатым,
хоть достаивался звезд,
был, говорят, отец солдатам
и в обхождении был прост.

Он петушком бежал по залу
при первом веянии войны,
а знал немилость, и опалу,
и наказание без вины.

И сердце щедрое готово
считать, что был он ни при чем,
когда казнили Пугачева
и в Польше кровь лилась ручьем.

25.03

Не замечают собственного сходства
народы, разделенные враждой,
они клянут друг друга, где придется,
а схожи, словно не разлить водой.

Лишь в языке их сходство не таится,
тут не соорудить китайских стен,
кого винить, что перешли границу
«трамвай», «троллейбус», «метрополитен»?

С бесовской силой совладеет слово,
обычай есть перенимать слова,
в путях разноязычия земного
видны следы всеобщего родства.

Вот мы и кличем жителей России,
как выходцев из отдаленных стран:
по-гречески – Елена да Василий,
и по-еврейски – Марья да Иван.

10.05

Когда увижу на стене
смятенье выгоревших пятен,
их пестрый мир бывает мне
совсем не то чтобы понятен,

но иногда, лаская взор,
они не так уже и плохи,
давая выйти на простор
моей подспудной суматохе.

А то, спросонок теребя,
до головной доводят боли:
постой, постой, да у тебя
пальто такое было, что ли?

Берет под яблочко с утра
все то, с чем справиться старался,
и обрывается игра
декоративного убранства.

12.08

1963-1965

Мы не дачники, мы неудачники, –
и опять пошли о своем:
не заглядываем в задачки,
а задачки все задаем.

А увенчанные достатком
и поднявшие хвост трубой
с давних пор сочли недостатком
пребывать не в ладах с судьбой.

Оттого и в славе купаются,
и домашний блюдут уют,
продаются и покупаются,
покупают и продают.

14.09

Теперь на улице ветрено,
не время входить в детали,
пускай бы сыграли Веберна,
как раньше его играли,

а свист на панели каплющий
урчит, забиваясь в щели,
и скрипки хватает за плечи,
и щиплет виолончели.

Да разве на людной улице
пристало теперь такое
привыкшим терпеть, сутулиться,
надеяться, ждать покоя,

но сердце из рук не валится,
хоть после скулит по году,
куда же оно девается
в безветренную погоду?

22.10

О, как он все же был рискован,
шаг, совершенный напролом, –
и Пушкин после жил под Псковом,
и жил Тургенев под Орлом,

Шевченко – на Аральском море,
а Лермонтов – у кислых вод, –
винили в бунте и крамоле
певцов бессмысленных свобод.

И мы, подробности разведав,
потом судить обречены
по биографиям поэтов
о географии страны.

9.01

Мы сидели на вокзале,
пили водку и хватали
захмелевших наших дев,
а враждебная нам сила
только музыку крутила,
к потолку смычки воздев.

Добиваться не хотели,
отчего к концу недели
выходило вечно так,
что, не в силах скрыть улыбки,
нас фальшивящие скрипки
покупали за пятак.

А в засиженном подвале
потихоньку добирали
крымский розовый мускат,
и твердили музыканты,
перебрав свои таланты,
сколь прекрасен здешний ад.

26.01

Эти несколько строк, эти несколько памятных строк,
уцелеть не могли в накануне сожженной тетради,
обратили их в прах, и засыпал их легкий снежок,
но они проступили на рыхлой, обглоданной глади,

их прохожий топтал, их потом исчертила лыжня,
их в течение дня расклевали голодные птицы,

и, как в давние годы, уходят они от меня,
не желая и знать, что холодное солнце садится.

Мы-то стали бы жить, не ища запоздалой хвалы,
не гадали бы мы, чем судьба в эту пору чревата,
да в сиреневый снег упрутся сосен стволы,
на макушках держа розоватую мякоть заката.

Работающие дятлы стучат в опустелом лесу,
на разбитом шоссе тарахтят, надрываясь, моторы,
ты не слушаешь их, и уже я тебя не спасу, –
нам сегодня едва ли дадут хоть минуту на сборы.

Ты не слушаешь их, ты отбилась от них навсегда, –
что велят, что хулят, что сулят – да не все ли едино! –
в черной пасти земли исчезают людские стада,
и скупыми буграми поныне изрыта равнина,

заметают ее суматошный, пушистый снежок,
в оробелых строках не увидя особого смысла.
Только стало темно, кто-то свет на перроне зажег,
или это луна над бетонной платформой нависла?

28.02

Я счастья жду. Так, видно, на роду
судили мне, – терпеть и ждать, томиться
и тосковать, и вглядываться в лица
всем, кто идет навстречу. Я иду

на встречу с юностью. Случайный люд
судачит, лжет, перебивает кости
друг другу и заезжей нашей гостье,
но вот она, и все в ладоши бьют.

Причем тут я? Да ведь скорей всего
я тоже погружаюсь в эту веру
и вижу за манерностью манеру,
установив с ней тайное родство

отнюдь не душ! (Кто говорит, что душ,
когда удушья!) Буду ли я кроток,
пока ты задираешь подбородок,
избыть стараясь в певчем горле сушь?

Едва ли. Да о кротости ли речь?
Ужели смерть – смирения примета?
Каков у Пушкина портрет поэта?
«Хорош и кудри русые до плеч».

А тут недобрый взгляд, почти мужской,
и волосы не то чтобы в порядке,
и ко всему столичные ухватки,
как у любой девченки на Тверской.

Так не довольно ль золоченых фраз,
красот пространных и вопросов праздных?
О сколько версий возникало разных,
и все они нам внове всякий раз.

А только знаешь, странного ведь нет
и в том, что страсть мытарствует в поэте,
коль говорят, что он живет на свете
за нас за всех. На то он и поэт.

1.04

Как странно бывает сначала,
когда уже города нет,
но ты еще долго держала
записку и смятый букет,

потом показалось болото,
пошел по дороге камыш, —
а если не стало кого-то,
так разве на всех угодишь?

Давай-ка начнем понемножку
глушить эту глупость в груди,
прижмись потеснее к окошку,
на голую землю гляди,

в колесном раскатывай визге
оскомину первых потерь.
Храни и цветы и записки,
но где-нибудь на слово верь.

23.04

Мы проклинаям автоматы
в конце натруженной недели,
они, выходит, виноваты,
что мы не свиделись доселе.

Не поразительно ли это —
не сговориться о визите?
Весь день звонишь: то нет ответа,
то говорят — перезвоните!

Былой разлад души и плоти,
опять настигший нас некстати,
вы с удивлением найдете
в обыкновенном автомате.

Монетка медная готова
туда отправиться как сводня,
но не доходит наше слово
к тому, кто ждет его сегодня.

22.07

Прозаику нужны противовесы,
пускай он сам не знает наперед,
кто добр, кто зол, где ангелы, где бесы
и что за путь он дальше изберет.

Зато ему доподлинно известно,
на кой он ляд берется за перо,
и в трудный год, оставшись вдруг без места,
не зря он будет щуриться хитро.

Поэт и впрямь не ведает сначала,
о чем пойдут невнятные слова.
Его душа, как лодка у причала,
бессмысленно качается сперва,

он присмирел, он понял – в этом весь я,
он прокликает подлый жребий свой,
покамест, выйдя вдруг из равновесья,
не окунется в омут с головой.

Не сыщет он себе противовеса,
его, как щепку, вытолкнет вода.
И незамысловата эта пьеса,
а вот поди-ка, нравится всегда.

И долго бродят робкие вопросы
в умах у тех, кто спасся от греха:
откуда рос подспудный хаос прозы
и чем жива гармония стиха?

24.07

А я обыденной обидой
не зацеплюсь за злобу дня,
вот только ты меня не выдай
и не подзуживай меня.

Еще я выдохнусь, покаюсь
и прокляну пустые дни,
ты не суди меня покамест,
ты погоди, повремени.

Беда какая, что повсюду
хозяин кто-нибудь один?
Мы как чумные верим чуду
и за причудами следим,

сличаем истины пристрастий
с тем, что прощать не станем впредь,
в неотягчающем пространстве
тела пытаюсь простереть,

и различим, презрев приметы,
как день прибьется к мостовой,
шурша обрывками газеты
и распластавшейся листвой.

А долгожданная расплата, –
пусть не за совесть, так за страх, –
взовьется пламенем заката
на присмиривших небесах.

31.10

В книготорговческих витринах
Двенадцать цезарей стоят.

Л.Мартынов.

Двенадцать цезарей – двенадцать мерок
для выраставших на иных химерах;
так разве мы напрасно говорим,
что, становясь с годами непреклонней,
распространяет власть свою Светоний
уже и на второй и третий Рим.

Крушенье царств не рушит нрав империй:
дрожал от страха, сея страх, Тиберий,
сводя с ума, сходил с ума Нерон,
и даже трезвый ум Веспасиана
не упразднил обычного обмана,
и добрый Тит напрасно занял трон.

Пусть даже остаются на прилавке
из давних жизней вырванные главки,
напрасно все же думает поэт,
что если древним не была знакома

щербатая поверхность космодрома,
и нам до древних тоже дела нет.

А если нам и впрямь нет больше дела
до вот уже последнего предела
испытанной премудрости отцов,
Светоний, подтверждая наше сходство,
хоть медленно, да верно разойдется,
и огорчать не стоит продавцов.

19.12

Ну что опять сидишь, как сыч?
Тут ничего и нет такого.
Ты только людям в нос не тычь,
что век свой прожил бестолково.

Пускай в глаза не видел той,
которой богом был обещан,
а доверялся ведь порой
самоотверженности женщин,

к ней прикинул как вьюн к стволу,
и осознать не мог возврата
к тому веселому числу,
где познакомились когда-то.

А за внезапным рубежом,
какого вроде бы и мало,
уже как к горлу вдруг с ножом
пустая местность подступала.

Еще влезали в зеркала
твои белесые светила,
да только искренность лгала,
и правда за нос нас водила.

Сползал с ветвей набухший снег,
слипаясь в корку ледяную,
навек отрезавшую тех,
кого я больше не ревную.

4.01

А в общем январь как январь,
свиристывают вьюги, как звери,
да ветер, бездомная тварь,
нечаянно всхлипнет у двери.

Он вроде бы просится в дом,
на дверь, между тем, налегая.
Ее отодвинешь с трудом,
и вьюга подскочит нагая.

Не требуй добра в январе,
ветрам не заглядывай в лица,
зазря не ищи на дворе
того, что вперед пригодится.

Но разве души не отдашь
за то, чтобы встретить снаружи
нечесанный зимний пейзаж,
совсем ослабевший от стужи?

31.01

Не странно разве это было,
что ты не делала мне зла?
Ты только с ног меня валила,
ты только в дом меня звала.

И воскресала от кресала,
от искры, тлеющей в золе,
и никуда не исчезала,
пока была навеселе.

А я запомнил без запинки
вперед размеренный запой,
твой пофиль злой, где ни кровинки,
и кривотолки в перебой.

И хоть о прошлом не судачу,
и даже проще налегке,
храню, как редкую удачу,
ту грудь пустую в кулаке.

Сверкни зубочками из мела,
мне не содеявшими зла.
Причем тут черная измена, –
ты как была, как лен бела.

Но все упрямей год от года,
собой, как водится, горда,
приходит зыбкая свобода
не озираться никогда.

25.05

1966-1970

У нас в гостях московские поэты,
уже они воспеты и запеты,
их имена слетают с влажных губ,
и рады москвичу или москвичке,
мы скачем, изменить боясь привычке,
к семи часам в наш захудалый клуб.

Сверкает злоба и лучится слава,
по-прежнему блистает Окуджава,
однако раскрасневшийся народ,
набавить силясь уровень прилива,
на этот раз довольно справедливо
Самойлова любимцем изберет.

А он в середине возраста земного
поэта нам изобразит иного,
хоть о себе самом ведется речь:
«Полковник Пестель сыплет соль на раны.
Чего их слушать, – все они тираны,
а женский пол, однако, стоит свеч!»

О как же все на этом свете зыбко,
и почему пленительна улыбка
в том самом месте, где скулит печаль?
Он не при чем, он вышел за кого-то,
и не его, насмешника, забота,
что нам его ни капельки не жаль.

Конец. Тускнеют люстры. Пусто в зале.
Но разве мы до этого не знали,
что смотр новинок пахнет стариной,
а снится нам всегда одно и то же?
Но стоит им приехать, и – о, боже –
мы поспешим на зов очередной.

22.10

Занимались во мгле купола,
колыхались дубы вековые,
накануне сожженный дотла
этот город горел, как впервые.

Я глядел на мгновенный пожар,
перебравшись на низменный берег,
и не то что от страха дрожал –
лишь гадал о возможных потерях.

Но застрять в заповедном краю
не судьба мне была, поелику
сатанинскую гордость твою
приспособили к постному лику,

ты на это потратился весь,
растворился в огне без остатка,
и не трогала поперву весть,
что своим оказалось несладко.

Бьют часы и гудят голоса
над руинами старой застройки,
воскресает былая краса,
иссякают былые уроки.

Что ж, как водится, стой на своем,
только новой беды не накликай,
храм, восставший над старым кремлем
при слияньи Псковы и Великой.

18.09

В конце зимы находит буйный страх,
и рыжий телефон звонит некстати
до полуночи о поденной плате
и до рассвета об иных мирах,
и сирый дух поносит нищий прах
и торопливо понукает чудо:
беги, беги, не замели покуда,
покуда не загнали, как лису,
что нас манит и в руки не дается,
у присмирившего землепроходца
век оставаясь, как бельмо в глазу.
А прежде ночевали, где придется,
и только тяжелели голоса,
когда пустая вера в чудеса
от верной смерти разве и спасала.
Нам этого, однако, было мало:
возобновлялась странная пора,
вдруг поступать решившая сурово,
чураясь брани, равно как добра,
без лишней крови нас лишая крова.
И не дано спасенья от чудес
в том, кто бежит тебе наперерез,
как будто понимая с полуслова,
и разом отрекаясь от бывшего,
(от давнего сиротства и родства
той жалкой влагой, что течет по древу
покорна эолийскому напеву),
и преступив пределы естества.

Встреча вечером в вагоне
не сулит еще хлопот,
это дым на перегоне
вдруг конец тебе кладет.

Ты не вздумай лишь обиды
ей выкладывать скорбя,
словно впрямь какие виды
у нее есть на тебя.

Ведь пока не станешь старым,
откровенно говоря,
все ведь счастье в том, чтоб даром
жизнь отдать – отдать зазря,

без особого расчета
и надежды на успех,
а не то чтоб за кого-то
иль, по крайности, за всех.

Коли жаль своих сокровищ,
что держать их под рукой?
Не жене ты их отроешь
и не женщине другой,

разве только первой встречной
что-то буркнешь невпопад,
вдруг польстившись на беспечный,
бессердечный, жадный взгляд.

24.03

А тебе, в пальтишке детском,
довеется разве вновь
этак встретить на Кузнецком
стародавнюю любовь?

Ничего тогда не делай,
даже вслед ей не гляди,
словно капор этот белый
не стучал в твоей груди.

Вот и выдохлась отравы,
и пропала благодать,
ей налево, мне направо,
что об этом толковать?

Ничего не остается
от пустых твоих затей,

и не видно больше сходства,
и ведь не было детей.

Да и что тебе за дело,
завернет она куда,
если все, что отгорело
в те далекие года,

протянулось в жизни длинной,
нам отрезанной с аршин,
белым следом по Неглинной
под колесами машин?

5.04

Когда влечет неудержимо
схватить господню благодать,
о положениях режима
отнюдь не стоит забывать,

из наспех скомканных тетрадок
изъять бы несколько страниц,
в сердцах нарушивших порядок,
нам пасть предписывавший ниц,

и не казнясь напрасной злобой
и приснопамятной тоской,
признать усиленный, особый
и знает бог еще какой.

Но потому и станешь смелым
и волю дашь своим страстям,
что если сгнуться надо в целом,
то не спасешься по частям?

12.07

Неизвестно когда и неведомо где
это было со мной не однажды, –
я стоял по колено в проточной воде
и не ведал спасенья от жажды.

Золотая удача из самых удач,
что я знал это в самом начале.
Говорили мне рыбы, как люди: не плачь,
ну, а люди, как рыбы, молчали.

Я на небо глядел, а на небе опять
наважденье сулила комета,

и все, помню, хотел что-то громко сказать –
ведь не вечно продолжится это.

Понимал наперед, – жить своим бы трудом,
да в своей помереть бы постели,
а слова говорили совсем не о том
и не этого вовсе хотели.

13.08

Мы не спали, мы просто лежали
и спросонья глядели в окно.
В угодившем под дождь Дилижане
было тихо, тепло и темно.

По соседству торчала вершина,
подпирая плечом облака,
но ведь это еще не причина
на долину смотреть свысока.

Мы не спали, мы знали заранее,
что пленительно будет в гостях,
и, однако, в рассветном тумане
зачаровывал каждый пустяк.

А на пиршестве сытом и пьяном
и немислимом даже дотоль
я завидовать начал армянам,
не скрывающим давнюю боль.

О нелепая заповедь детства, –
не выказывать слабость свою,
а ведь как хорошо разреветься
в каменистом и жарком краю,

не выспрашивать, что ж это значит,
что полночи без сна пролежал, –
только слушать и слушать, как плачет
угодивший под дождь Дилижан.

15.10

А нам допивать бы не надо вино,
авось не обидим хозяев,
добру и радушию жить суждено
и в розовой дымке растаяв,

пускай обратимся мы даже во прах,
даренье души сохранится,

и все-таки где-то останется страх
от мысли, что рядом – граница.

Отнюдь не нарушат природной красоты
нагими столбами своими
четыре колючих ее полосы
да беглый прожектор за ними.

А там, за рекой, ни столбов, ни солдат,
ни псов, ни огней, ни строений,
а только огромный седой Арарат,
как некий отверженный гений,

да в оные годы отторгнутый берег,
вобравший в себя, как могила,
и тьмы убиенных, и жалкий ковчег,
и все, что до этого было.

Умеришь ли горе, отмщеньем грозя
убийцы безвинному сыну?
Но пусть ничего переделать нельзя,
мы долго глядим на вершину.

19.10

От стыда не подняв головы,
обхожу стародавнюю славу,
где по случаю или по праву
благолепно немотствуют львы,

ибо город, избавивший нас
навсегда от жары и от стужи,
неожиданно смотрит снаружи,
словно что-то в нем есть про запас.

Поначалу уверуешь: есть!
Но душа, как известно, незрима,
а под аркой, по образу Рима,
серым волком свирепствует месть,

и лепнина рустованных стен
несуразное что-то лепечет,
означая лишь чет или нечет
одичанья имперских систем.

Иль не Пименов нынче ведет
к бессловесно-державному благу,
где шагнуть невозможно и шагу,
не задев триумфальных ворот,

разевающих каменный рот,
словно жадную глотку победы,
навлекающей лютые беды
на ее одержавший народ.

5.04

Если время простить и проститься,
так меня ты прости и прощай,
а не то, как бескрылая птица,
и примерзнуть могу невзначай.

Напоследок чего пожелать бы –
и без нас разумеет народ:
заживет, коли сможет, до свадьбы,
а ведь после когда заживет?

Не шуми и не спрашивай, кто ты,
для чего ты и веришь кому,
вырывая слова из дремоты,
окунающей тело во тьму,

и в труде не таком уже редком,
где река обращается в речь,
не мешай доживать своим предкам
и потомкам своим не перечь.

6.05

1970 – 1972

Андрей Данилов, превосходный парень,
внезапно призван был к военной службе.
Оно, понятно, было не внезапно,
он понимал, что подступает возраст,
и все же получение повестки
напоминало гром среди зимы.
Была война. Повестка означала
не просто долговременный отъезд,
конец сентиментального романа
и перерыв в науках. Шла война.
Повестка означала отправленье
на линию огня, а где огонь,
там и сгореть недолго. Хоть Андрей
был не таков, чтобы себе признаться
в своем отчаянье, он приуныл.

Его приятель Рома Камионский
еще играл в ту пору на рояле,
а не был осужден за дезертирство,

и вот они вдвоем по целым дням сидели в вестибюле за роялем, который было некуда поставить, и занимались Гайдном. Вот ведь тоже, не Вагнером, – однако не Чайковским, а Гайдном, – кто он был, поди пойми: австриец, то есть, немец, или русский, поскольку с примесью славянской крови и меланхолией славянских песен.

Они играли Гайдна. Но Андрей был не похож на Рому, – Рома громко, открыто говорил: хочу играть, и вам не откажусь играть на фронте, коль сыщется рояль. Пускай стреляют, я не боюсь. Мне только бы играть, за клавиши держаться. За винтовку держаться я не буду, хоть убейте. Ну и убили. Было очевидно, что не хватает зрелости гражданской. Андрей же был куда благоразумней и, более того, он понимал, что искренность такая неприлична, когда на фронт уходят все ребята и страшно всем, и каждый сознает, что выжить шансов мало, но другого и способа нет выжить, если «выжить» мы понимаем в смысле «жить, как жили».

Навстречу перла черная орда, считаться не желавшая с желаньем других людей считать иное нечто, чем было им приказано считать. Андрей чистосердечно ненавидел их танки, их повадки, их настырность, их твердокаменность; он им желал позорной гибели, хоть часто думал о тщетности усилий человека одним ударом опрокинуть зло везде и навсегда. А тут – призыв. Понятно, дезертирство исключалось, понятно, исключался и отказ от исполненья воинского долга, он был готов идти. Он был готов к тому, что жизнь прервется за порогом призывной комнаты. И вдруг – не годен! Идет война, и все равно годны, чтоб лечь костями и унавозить землю для будущих побед. А он – не годен, врач обнаружил в сердце недостаток, способный при малейшем напряженье окончиться разрывом, что отнюдь

не обязательно, хотя возможно.

Сперва Андрей не радовался даже, поскольку Рома был отправлен в часть. Сперва один сидел он у рояля, играл уже не Гайдна, а Шопена, а, впрочем, скоро перестал играть, – приятельница гордой героини, считая, что возвышенность нелепа, когда мужчин так мало, объяснила ему его нехитрую задачу, и он вошел во вкус. И понемногу жизнь потекла обычной колеей. Он жил. Война кончалась. В день победы он был уже в Москве и в майский вечер вместился под шальной шатер лучей, кативший купол по пустому небу. Кругом стояла тихая толпа.

Прошло немногим больше полугода, и был убит историк Грацианский. Убийцы взяли меховую шапку, а сам профессор замер на снегу, держа в портфеле пачку сторублевков и литературные карточки, в кармане – старинные часы. Тогда в Москве орудовали странные бандиты, стрелявшие в людей не для добычи, но не умея одолеть привычку стрелять в людей. Профессор Грацианский был не единственным. Три дня спустя зарезали Андрея. Я подумал не о превратности его судьбы, но лишь о том, что все-таки могила останется поблизости от дома, а не в глухом лесу под Волковским, обозначавшим полную безвестность. Но я ошибся. Кладбище снесли, был отведен переносной участок, да заболела мать. К тому же это и стоило недешево. Андрей остался. Минуло пятнадцать лет.

Как рафинад на поле стадиона, стоят пятиэтажные бараки, обруганные нами за уродство, при том, что в них не так уж худо жить, в особенности тем, кому жилья не доставало. Коренной москвич Андрей Данилов был убит случайно. В Москве довольно скоро пресекли подобные убийства. Мне сказали, что ровно ничего не означает

его судьба. Какая обреченность?
И кто додумался, что смерть в живом
подчас не хуже держится, чем в мертвом?
Профессор Грацианский был убит
шестидесяти лет, когда призыву
давно не подлежал, а для инфаркта
еще был крепок. Впрочем, и профессор
не посвящал нас в дебри тайных мыслей,
а уж Андрей, тем паче, никогда.

21.09

Открытие сезона – в сентябре,
и, зная расписание заранее,
мы назначаем загодя свиданье,
зачеркивая день в календаре.

А там, хоть за три моря колеси, –
ведь из неведомо какого края
вернешься ты домой, как жердь худая,
и сядешь с зонтиком ко мне в такси.

Итак, мы подступаем к рубежу,
и ты причастна к действующим лицам.
Спектакль давно способен развалиться,
а я стою в кулисе и гляжу.

Пускай судачат все, кому не лень, –
страшиться ль нам пустого говоренья,
коль скоро не сулит нам повторенья
тот, самый первый, тот счастливый день.

Как чуть не тридцать лет тому назад
отходим мы все дальше от Арбата,
а там, где осмелели мы когда-то,
семиэтажки белые стоят.

За сизой дымкой давний твой сезон
приобретает привкус анекдота,
но это больше не моя забота,
а дом, где ты жила, давно снесен, –

в московских переулках не найдешь
другого столь нелепого строенья.
Но я не стану портить настроенье,
тем более, что так доступна ложь,

и потому не отвожу лица
и не ищу спасения от бредней.

Вот разве что пробьет наш час последний,
а то ведь ничему и нет конца.

23.09

Прости меня, город Орел,
мой дед здесь три года провел,
а я себе мимо проеду,
заехать не думая к деду.

Бог знает, какой уже год
мой дедушка тут не живет,
а я все считаю поныне,
что дед мой еще на чужбине.

Давно он вернулся, мой дед,
небрит и небрежно одет,
а мне все по-прежнему снится,
что время ему воротиться.

Вкусив и сумы и тюрьмы,
он умер в начале зимы,
его я не видел в могиле, –
детей хоронить не водили.

Считать я не стану обид,
мой дед в Вострякове лежит,
и все я твержу бестолково,
что родина мне – Востряково.

А кто-то уже говорил,
что родина – место могил,
в которые ныне вместились
к тебе обращенная милость.

Веди же оттуда отсчет,
коль дед твой в Орле не живет,
считай от заваленной щели,
в которой лежит он доселе.

15.10

Учитесь музыке. Упрямо
играйте гаммы по утрам.
Вперед расчисленная драма –
убежище от поздних драм,
она – подобие исхода,
когда, казалось бы, тупик,

и ты все больше год от года
ей доверять себя привык.

Учитесь музыке. Почаще
присаживайтесь за рояль;
глядишь, судьба и станет слаще,
пока играешь пастораль;
и утешеньем обратится
предмет безвыходной тоски,
и упований вереница
войдет в наш быт с твоей руки.

Учитесь музыке. Досада
упущенный отравит срок.
Пускай учительнице надо
платить пятерку за урок,
и не достанет сумасбродства
ронять звучанья напоказ,
но слуха, может быть, коснется
во мгле дрожащий трубный глас.

16.04

В грузинской церкви в Мцхети
стояли прихожане.
Зачем я жил на свете,
я вроде знал заране,
да знанье это сплыло,
как не было совсем,
и я глядел уныло
и недвижим и нем.

В грузинской церкви в Мцхети
так быстро-быстро пели,
как будто люди эти
куда-то не поспели,
и, затая в хорале,
обилие забот,
хотя бы ускоряли
нескладной жизни ход.

В грузинской церкви в Мцхети, –
немыслимое дело,
то в пляс пускались дети,
а то струна звенела.
Ах, петь бы, и плясать бы,
и плакать бы под звон,
согласный с духом свадьбы
и духом похорон.

В грузинской церкви в Мцхети
стояло их с десятков.
Минуло лихолетье,
но жребий был несладок.
И, дав прорваться взору
за видимый предел,
их тайную опору
я вдруг уразумел.

29.05

Неси свой крест и веруй!
Попробуй вдругорядь!
Какой, однако, мерой
ту веру измерять?

Когда ее довольно
окажется уже,
чтоб не было ни больно,
ни горько на душе?

Неся свой крест обычный,
как ни петляет путь,
не жди, что окрик зычный
затихнет где-нибудь,

и, к темени кромешной
приладив тайный пыл,
надменно-безутешный
останешься, как был.

Так вера пусть прервется,
пускай прорвется страх
сонливое уродство
увидеть в зеркалах,

чтоб суетная прелесть
не воздавала впредь
за то, что натерпелись
умения терпеть.

2.07

Продается кларнет, и куда обратиться –
обозначено ниже на том же столбе.
Не потрафила, видно, судьба кларнетисту,
кларнетист подрядился играть на трубе.

Что ж, пускай даже так! Но с чего бы при этом
непрерывно приспичило сразу ему
расставаться навек с деревянным кларнетом?
Вот чего я, по совести, в толк не возьму.

Отчего бы кларнету в шкафу не пылиться?
За него и барыш-то не больно казист.
А таким инструментом не грех похвалиться,
да и сам он отменнейший был кларнетист,

он в столичном оркестре играл свое соло,
и в ту пору ему было все нипочем.
Так хранил бы надежду, хоть жизнь поборола,
поберег бы кларнет, хоть и стал трубачом.

Кларнетист по-иному загадывал, видно.
Я судить не могу его и не хочу.
Трогать попусту клапаны было обидно,
а с обидой легко ли играть трубочу?

Он и продал кларнет. Даже самую малость
не перечил тому, что решила судьба.
Жил сегодняшним днем. Принимал, что досталось.
И, не зная пощады, ревела труба.

1.08

Во сне еженедельных похорон,
бог знает над которым стоя гробом,
не возомни, что ты заговорен
и что тебе идти путем особым.

Когда не хуже, будет как у них, –
сбежится горстка знавших мимолетно,
и плоть твоя отныне – лишь двойник,
а дух твой волен пребывать бесплотно.

О, где ж он будет пребывать в сей час, –
бить людям в нос или витать далече,
покуда, выставляясь напоказ,
они договорят пустые речи?

Не внемля им, я буду нем и глух,
не утешаясь от свербящей боли,
вдруг охватившей одного иль двух
из тех, кто ближе знал меня дотолле.

Оно понятно, – больше нет меня
и никогда не будет, ибо втуне

осталось то, что, дни свои кляня,
я торопился сделать накануне.

Нет, мне не полегчает от бумаг,
еще весьма дотошной ждущих правки,
и от того, что в двух иль трех умах
я задержусь на время для затравки.

Не вечно жить хочу, но коротки
отпущенные нам на дело сроки,
а я всегда, рассудку вопреки,
страх как любил прогуливать уроки.

Когда бы знать сначала, что потом
не рай начнешь вымалывать как милость,
а станешь умолять сведенным ртом,
чтоб жизнь еще хоть несколько продлилась.

16.10

Прекрасный дух, разъятый
на части и черты,
какой, не знаю, платой
навек обложен ты,

и кто, приметив эту
земную благодать,
за прежнее к ответу
дерзнул тебя призвать?

Нам сделаться, как дети –
и вся тут недолга,
да жизнь на белом свете
пошла втридорога,

и тянется расплата
до нынешнего дня,
хоть ты не виновата,
что не было меня.

11.05

Пока дрожит осенний Петроград,
провидя мор и глад, пожар и стужу,
я щель в своем режиме обнаружу
и выскользну наружу наугад.
Не разглагольствуя об общем благе,
не доверяя истины бумаге,
не отнимая времени у тех,

кто, в городские не входя кошмары,
спешит в ненастный вечер, строясь в пары,
урвать доступных каждому утех.

Как сумасброд, я в несуразном бреде...
«Скажи: в бреду, – поправит грамотей, –
до гроба над грамматикой потей
и проводи с Шишковым дни в беседе,
исследуя, настала ли пора
ребятам выходить в инженера,
а то пускай, как прежде, инженеры
они себе зовутся и теперь...»
В эпоху нескончаемых потерь
пристало рассуждать о чувстве меры.

Родной язык! Покуда не проник
я в тайники твои весь до кровинки,
с тобой пребуду в давнем поединке,
а ты, как мой заведомый двойник,
еще никем не uznанный покуда,
меня пытаешь ожиданьем чуда,
в котором мы с тобой сольемся вдруг
в едину плоть. Вот именно в едину!
И тут я, как всегда, тебя покину,
хоть не лишусь к тебе простертых рук.

Да как же так? Куда ж без языка-то?
Иль невдомек, что весь ты только в нем,
хоть не гуляешь с ним, как с кистенем,
но он и есть последняя утрата,
последняя... О том и речь идет,
что для тебя язык и есть народ,
и родина, и дом, – все атрибуты,
которые торчат над головой,
и, стало быть, он твой. Он – твой! Он – твой!
Покуда не уляжешься в гробу ты,

покуда весь не вытянешься всласть,
как бы свершив с ним сызнова то дело,
что перед этим вроде надоело...
Да только не твоя, голубчик, власть
в своей до света вековать квартире.
Звонят! Звонят: один, два, три, четыре...
Звонят, забыв приличие и стыд, –
и падаешь, сглотив язык до срока,
а на дворе осенняя морока,
и тот же самый дождик моросит.

1972-1978

С чего бы в полуночный час,
когда бы поспать без помехи,
внезапно заходит у нас
пустой разговор об успехе.

Успех – это значит: успел,
схватил свое время с поличным,
и скопище суетных дел
скрепил оправданием публичным.

А если дождаться не смог
хвалы, убажжающей ухо,
и только в отточенный слог
вместилась беспомощность духа,

а ежели начисто нет
ни этого самого слога,
ни прочих извечных примет
земного присутствия бога,

но бог пребывает с тобой,
как ты, безнадежно забытым,
то названный глупой судьбой,
то числясь обыденным бытом...

Он поздней порой, как на грех,
тебя изведет, святотатца,
но, может быть, в том и успех,
чтоб тем, кто ты есть оставаться.

26.11

Оторопевший ротозей
взирает изумленно:
при входе в Пушкинский музей –
портрет Наполеона.

Не тот, кто весел и курчав
порхал в аллеях парка,
а похититель древних прав
казненного монарха.

В какую ж каверзную связь
вошли тиран и гений? –
гадает публика, страшась
привычных объяснений,

а приходящая в азарт
провозглашает пресса,
что узурпатор Бонапарт –
предшественник Дантеса.

Чего, чего не говорят
любители порядка,
привыкнув бронзу ставить в ряд
и плавить без остатка,

а лицеисту все равно
до гроба будет сниться
в полночной тьме Бородино
и солнце Аустерлица.

20.02

Не промолвить бы ни звука,
плыть, как вешний ветерок...
О, нехитрая наука
не соваться поперек!

Вороши очаг былого,
где затеплилась душа,
не рискуя вставить слово,
открываться не спеша.

Наклони пониже плечи,
лишь бы пламень не потух,
но, лишаясь дара речи,
ты и сам теряешь слух.

2.03.73

В зеленом и сонном Крыму,
где воздух прозрачен и сладок,
спаси тебя бог от загадок,
каких не решить никому,
себя наперед не готовь
к безглазой судьбе, что простерла
свой меч и вопит во все горло...
А, впрочем, совет да любовь!

Сойдись с этой сухостью дня,
плывущей от свеч кипариса.
Когда ж это ты умудрился
забыть, что жила здесь родня?
Спеши, поднимаясь чуть свет,

сдружиться с листвой винограда,
хоть, может быть, лучше не надо...
А, впрочем, любовь да совет!

Морская волна о гранит
ударит с внезапным напором,
а все как о чем-то нескором
ты думал, что смерть не щадит.
Теперь до конца суесловь,
спросить не рискуя названья
того, где твои упованья...
А, впрочем, совет да любовь!

Вот если бы просто тепла,
ну, чтобы в костях не ломило,
да разве отступится сила,
которая жизнь отняла?
Хоть валит волна парапет,
и брызжет свидетелям в лица,
и вновь обмануть не страшится...
А, впрочем, любовь да совет!

25.03

Твои скоротечные дни
проходят нелепо.
Очнись и отважно взгляни
на черное небо.

Сверкнула там, что ли, звезда
из дальнего края?
А, может, ползут поезда,
закон попирая?

Ползут по изгибу небес,
как в прежние годы,
и сызнава кажется лес
пределом свободы.

До нас добирается свет
с далекой орбиты,
где ныне чего только нет,
но люди убиты.

27.03

Я живу, я не то, чтобы жив,
но живу, – и словесные глыбы

до счастливой поры отложив,
мы еще повидаться могли бы,

мы могли бы уйти от людей,
посидеть на заброшенном пляже,
то есть, как тут собой ни владей,
не увидеться – странно бы даже.

Но случается то, что должно
неминуемо было случиться, –
то ли дождь заслоняет окно,
то ли краска бросается в лица,

происходит подмена вещей,
и не ты торжествуешь, а кто-то,
кто решительней стал и тощей,
чем на старом захватанном фото.

2.04

Коль жизни, кроме страха,
не будет впереди,
давай чакону Баха
мне на ночь заведи,

заполни по старинке
беспамятный провал, –
внимал бы я пластинке
и век не тосковал.

Не то что отпустило
державшее сперва,
но жизни не хватило,
а музыка жива.

Годов уже как триста
покончен разговор,
а пальцы гитариста
застряли до сих пор.

23.11

Нам по Лиговке налево
заворачивать опять,
и щемящего напева
станет вовсе не слышать,
и в открытое пространство
вроде выйдешь не впервой,

коли с близкими расстался –
все равно что неживой.

Хорошо хоть, что дорогу
различишь в кромешной мгле,
хорошо хоть, слава богу,
что в отеческой земле,
в том краю, где сам когда-то
груз подобный принял ты,
озирая виновато
камни, звезды и кресты.

Никогда мужчин и женщин
перечеть я не смогу,
пеплом по ветру пошедших
или брошенных в снегу,
перебитый без пощады,
чуть не выбитый народ, –
совершить они бы рады
наш прощальный поворот.

А как с Лиговки свернете,
будет путь и прям и прост, –
послужил своей заботе
и ложись во весь свой рост.
Вот он жребий твой желанный,
и прощай, пустая грусть, –
мне бы только до Расстанной,
дальше сам я доберусь.

1.12

Корабль трехмачтовый в туземном порту
под всеми стоит парусами,
с поклажей разделаться не вмоготу,
и все же справляемся сами.

А ты говоришь: это сон, это ложь,
мне этот корабль только снится,
ты медленно руки на грудь мне кладешь,
и тихо сдвигаются лица.

Корабль набирает дыханье сперва,
счастливый и гордый заране,
он ждет отправления, как торжества,
не думая, что в океане.

А ты, разгоняя недобрые сны,
опять улыбаешься кротко, –

и спать как убитые мы бы должны
под грохот всего околотка.

Корабль отбывает в неведомый свет,
как водится в юности ранней.
А ты повторяешь: прекраснее нет
обыденных наших свиданий.

Уходит корабль под покров темноты,
его никогда мы не встретим, –
и я просыпаюсь, – А ты где? А ты? –
и день начинается этим.

16.12

Пред тем как медленно вспорхнуть,
тот миг внезапный озирая,
когда тебя себе на грудь
повалит мать земля сырая,

ты непременно приглядишь
пристрастным взором очевидца
к тому, что не взовется ввысь
и с чем придется разлучиться.

Конечно, сдохнешь дураком:
твердить азы – себе дороже,
но мир, исхоженный пешком
и зримый сверху, слишком схожи,

и город сызнова – орда,
и снова плоть – подобье платы,
точь-в-точь как в давние года,
когда мы не были крылаты.

7.05

Зарю семнадцатого века
в благоговейной тишине
встречают пастухи Эль Греко.

Лежит ребенок на спине,
а на поверхности земли
застыл ягненок бездыханный,
и тьма кромешная вдали,
а в доме свет какой-то странный.

Нелепо вздетая рука
торчит беспомощным вопросом.

Сулят спасти наверняка!
Безмолвный ангел над откосом
парит, – латинские слова
держат как знак благоволения.

Взирает грек из отдаленья
на жизнь молодого существа.

Она по-прежнему темна.
Какие прояснятся лица?
Что с новорожденным случится?
Какая участь суждена
ему теперь на белом свете?
Как станут жить другие дети?
И от каких еще обид
опять не оградит окрестность?

В том, что младенцу предстоит,
преобладает неизвестность.
Еще оранжевая ткань
легко соседствует с зеленой.
Смелее в будущее глянь
и не дрожи перед мадонной.

Но грек уставился, и мы
глядим, и непроглядной чашей,
робея, движемся из тьмы
навстречу жизни предстоящей.

Не верь, не верь в свою звезду,
не доверяйся слухам,
не жди, что сможешь на виду
сгореть единым духом,

и разом выплеснется глас
всего, что было близко,
навек оправдывая нас
отчаянностью риска.

Господь беспомощно простер
свои пустые длани,
где ждет нас печь, а где костер,
не высмотрев заране.

Еще подумать не могли б,
чему я здесь подвергнусь,
покуда судорожный всхлип
не выплыл на поверхность.

Иди ж и впредь своим путем,
не донимая бога,
к какому месту мы придем
и где теперь дорога.

Гори на собственный свой страх,
грядущего не зная.
Глядишь, и вспыхнет в небесах
звезда твоя шальная.

19.11

Четыре музыканта сидят ко мне лицом:
один с виолончелью, еще один со скрипкой,
на этом крае с флейтой, а на другом с альтом,
и самая рассадка мне кажется ошибкой.

Мне кажется, что каждый уставился в окно
и от вагонной тряски склоняется к соседу.
А может, музыканты приехали давно,
а я куда-то еду, а я куда-то еду?

Знакомая дорога уходит из под ног.
Нашел себе забаву – порадоваться горю!
Как вдруг я понимаю то, что понять не мог,
и больше с мирозданием по мелочи не спорю.

Рыдания и всхлипы уносятся как дым,
и музыке и жизни даны скупые сроки,
но музыкантам в лица мы пристально глядим
в надежде убедиться, что впрямь не одиноки.

23.02

1978-1985

В неугомонной гонке
расчислены давно
и ложе из вагонки,
и грубое сукно,

и низкий стол дощатый,
и шаткий табурет, –
и льстишься лишь пощадой,
другой надежды нет.

Желающим учиться
непрожитым годам

я воспарять, как птица,
примера не подам,

я знаю понаслышке
про волю и покой,
а сам и передышки
не помню никакой.

5.07

Опять химеры
хороводить рады,
и жаждешь веры,
коли нет пощады.

Пропьем потерю,
горевать не будем,
в людей я верю,
да не верю людям.

Совсем немного
я беру в дорогу, –
я верю в бога,
да не верю богу.

5.07

«Слава богу!» – сказал государь, но в ответ
он успел услышать: «Еще слава ли богу...»
Называют с тех пор меж недобрых примет
и Михайловский сад, и канал, и дорогу.

Но, восстав на крови, облупившийся храм
никому не указ и не занавес драмы,
ибо сей государь стал не сразу упрям,
а обычно у нас государи упрямы.

Тем и держится власть, что упрямством красна,
хоть уже и упрямыцы добра не видали.
До того справедливость бывает нужна,
что с женой и детьми расстреляют в подвале.

А глядишь, уступил бы хоть самую чуть,
не стрелял в приходящих на площадь с иконой,
и могли бы не сжаться они, а вздохнуть, –
не за милостью шли, а за долей законной.

Первый залп не затих, и второй не затих,
оттого, вероятно, и мир нынче хрупок,

но упрянца причислили к лику святых,
рассудив, что несчастья пошли от уступок.

Государей за то ведь и любит народ,
что, как прежние, правят, клонясь лишь направо.
А, не дай бог, бомбисты? Авось, пронесет!
Только слава ли богу и богу ли слава?

Семейным портретом Ван Дейка
любujemyся мы не шутя,
обычная вроде семейка –
мамаша, мужик и дитя.

Дитя как бы вполоборота
взглянуло назад, на отца,
однако родителям что-то
понеыне сжимает сердца.

Два взгляда: решительный женский
и полный тревоги мужской...
Гляди же на них и блаженствуй,
снедаемый той же тоской.

А что в своем рвении строгом
грядущая жизнь отберет, –
увы, даже с господом богом,
поди угляди наперед.

22.09

Святой Лука, рисующий мадонну,
евангелист и покровитель наш,
оставил не портрет и не икону,
но меж людей расположил пейзаж.

Река. Над ней Иоахим и Анна,
христовы дед и бабка, смотрят вдаль.
Что было им открыто, что желанно,
что недоступно и чего им жаль –

в писании не сказано. Едва ли
возобновленный живописцем быт
по тщательно отделанной детали
их страх или смятенье воскресит.

Они взирают вдаль, а мать божья –
на мальчика, а на нее – Лука.
Но правда здесь на правду не похожа,
здесь даль – мала, а близость – велика.

В пространстве полотна, как бы возвысьсь
над тем пространством, что падет во тьму,
изобразил старинный живописец
людей едва причастными к нему.

Все достоверно. Разве что предметы
и люди вместе с ними входят в связь,
в которой вдруг душевные приметы
открыть другому можно не боясь.

22.09

Есть в Эрмитаже три лица
под круглым балдахином,
дабы предвечного отца
нам не считать единым.

Есть бог-отец, бог-дух святой,
бог-сын, и с этим богом
не сладить раме золотой
и праздничным чертогам.

Тот бог – мертвец, но жив отец,
а дух святой, как птица,
нам предрекая наш конец,
непрочь поторопиться.

Но хоть могуч отец, как жизнь,
и совладеет с духом,
ты все же мертвого держись,
воскреснет он по слухам.

Сошедший на землю с небес,
он распят для примера,
и, хоть покамест не воскрес,
жива слепая вера.

А три не ладящих лица
по-прежнему упрямы,
глядят на нас и ждут конца
нам предстоящей драмы.

22.09

Российский живописец прибыл в Рим
и прожил там почти что до кончины,
хоть мы и неохотно говорим,
какие были этому причины.

А перед самой смертью, воротясь
в Россию с полотном своим огромным,
и сам не жаждал разъяснять он связь
событий грозных с бытием бездомным.

Да и не вдруг сумел он побороть
бессильный сон, сгубивший поколение,
нет, суть не в том, что явится господь,
а в том, к кому обращено явленье.

Душа господня без людей пуста,
и живописец наш глядел как в воду,
когда предметом главного холста
избрал явление Христа народу.

А тот народ, заняв на полотне
весь первый план, был вроде как в раздрае
и ждал, что бог, поддавшись слабине,
объявит о земном всеобщем рае.

Одни, спокойно сидя на конях,
другие, бросив на земле одежду,
являли радость, любопытство, страх,
нетерпеливость, глухоту, надежду.

К несхожим людям обращался бог,
не наказуя даже святотатства,
и всякий человек открыто мог
не верить, верить или сомневаться.

И невесть где набравшийся идей
провозвестил стране, откуда родом:
народ, не состоящий из людей,
еще не время называть народом.

21.10

Сын человеческий – господь
свершил свой подвиг смело,
и вбили гвоздь в живую плоть,
и растерзали тело.

Хоть он заведомо постиг
исход из вечной ночи,
и то отчаялся на миг,
когда оставил отче.

А ты, сын божий – человек,
не ступишь без опаски,

ты знаешь – короток твой век,
и ждешь худой развязки,

ты в тишине вершишь свой труд,
он людям не помеха,
но за него тебя убьют
и будет им потеха.

Сын человеческий – Иисус
вознесся в воскресенье.
Я вслед за ним не вознесусь,
и я не жду спасенья.

Но человечье естество
и существо господне
уже различья своего
не ведают сегодня.

28.12

Не мной было сказано: «Черт догадал...»
и тут не прибавить словечка.
Еще не остыл смертоносный металл,
не высохла Черная речка.

Когда б ни таланта в тебе, ни души,
конечно, ты зажил бы сладко.
Писать захотелось? Изволь, попиши
для славы и ради порядка.

От века устроить заведомый рай
стараются палка и плаха,
внушая, что к счастью родительский край
придет не добром, а со страха.

Затем ведь и катятся головы с плеч
в преддверии райского сада,
затем и таланты положено сечь
и души доламывать надо.

13.01

Русский царь убит поляком,
и канал остался знаком
двух загубленных судеб, –
не видать свободы Польше,
да и Русь не будет больше
продавать Европе хлеб.

Лишь одна смущает странность –
озадачить ей пора нас:
было много злых царей,
но, безмолвны иль речисты,
не спешили их бомбисты
ликвидировать скорей,

а убитый, не забудем,
как-никак свободу людям
дал, хоть не дал им земли, –
землю удержал помещик.
Люди не как в сказках вещих,
но хоть что-то обрели.

Только Русь исконной верой
верила: лишь полной мерой
дать и взять народ готов,
и, чужих щедрот не чаяв,
стали славиться Нечаев
и дружок его Ткачев.

То в борьбе еще неравной
вновь орел самодержавный
над Россией взмыл, как встарь,
пособить он тем старался,
кто чужое рушил царство
лишь затем, чтоб свой был царь.

Сам я против царской власти,
но еще страшней, от страсти
нетерпением горя,
в исступленьи окаянном
заменить царем-тираном
уступавшего царя.

Так и вышло, заменили.
Сын и внук, хоть были в силе,
помнили – земля дрожит,
и спасались от расплаты,
в коей скажут виноваты
армянин, поляк и жид.

Добрались мы до канала, –
бомба здесь и доканала
волю совладать с судьбой,
и уверенность продлилась
будто вправду справедливость –
это смерть и смертный бой.

11.09

подумать даже в стародавний век
не мог ни Дюрер, ни Гольбейн, ни Кранах.

Бараны шли, куда их гнал пастух,
а люди, не объявленные стадом,
входили в дом и говорили вслух,
уста смыкали и стояли рядом.

24.11